

Игорь МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в поселке Реттиховка Приморского края. Образование высшее техническое. Работает на атомном предприятии.

Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах. Искры большого пожара», «Маяк», «Корнюшон и Рылейка», «Сланские были и небылицы» и других. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Новый мир», «Юность», «Дружба народов». Книги входили в короткие списки литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», «Русский Букер» и других.

Живёт в Ногинске, Московская область.

ДУША ЗАВОДА

Я люблю заброшенные здания, заброшки. Причём не дома, а большие здания, нежилые или не вполне жилые. Например, очень люблю покинутые пионерские лагеря. Мозаики с космонавтами: атлетичные фигуры, шлемы под мышкой, на заднем плане удивительной формы космические корабли, лица космонавтов светлы и открыты. Открыты, как окна в некий теперь уже недоступный мир. В медицинских корпусах встречаются нарисованные на стенах забавные ежи со шприцами и белочки-медсестрички с таблетками в лапках. Это так умирительно, почти до слёз. Написанные поверх штукатурки масляными красками картины облупились, у ежа отвалилась лапка и часть мордочки, белочка осталась без уха и хвоста. Хуже всего пришлось пострадавшему зайцу: от него остались только уши, перевязанная бинтами лапка и хвостик-пупочка. Белые облупившиеся территории, как белые пятна на древней карте, изляпали рисунок. Только здесь было известно, что небытие продолжит наступать, пока совсем не поглотит этот странный мирок на стене заброшенного пионерлагеря.

Нравится мне бродить и по заброшенным заводам. Был в истории нашей страны период, когда они закрывались тысячами или даже десятками тысяч. Большинство из них, конечно, уже опустошены прежним руководством и сборщиками цветного и чёрного металла, но встречаются иногда и такие, ещё не ободранные, что называется, до штукатурной дранки.

Глухие леса в Тверской области. Бывшее секретное предприятие. По верху бетонного забора изрядно поржавевшая колючая проволока, на ней жёлтые кленовые листья и капли стусившегося тумана. Если присмотреться, можно заметить, что капли на остриях колючки дрожат под ветром, как и пронзённые шипами листья.

Я бродил по территории заброшенного комбината. Высоченные, в семь-девять этажей, здания окружали меня, цеха, огромные,

как атлантические лайнеры, лежали вокруг. Эхо шагов отлетало от высоких, тёмных, будто прокопчённых, стен.

Запах... Покинутые территории имеют свой запах, который не спутаешь ни с чем.

На окнах всё те же мокрые листья. Стёкла мутны, будто это они производят туман, который заполонил всё вокруг.

В цеху, куда я забрёл, всё мне казалось особенно высоким, пустым и оттого торжественным. То было торжество пустоты и тления, но, знаете, даже пустота и тлен бывают пронизаны высокой тоской. Я замер. В рядах станков, которые то ли из-за быстро разрушившейся дороги, то ли из-за удалённости завода от центра не смогли вывезти, чувствовалась мрачная решимость и грусть бессилия. Краска на них потускнела, сталь поржавела, но барабаны токарных станков и штурвалы сверлильных всё ещё дышали тихой мощью.

Я сел на корточки, опершись спиной о станину, и, глядя на ряды станков, думал о совершенно солдатском строгом порядке их расположения (то был военный завод), о пусть и тронутой ржавчиной, но всё ещё огромной силе этих промышленных солдат.

И тут в дальнем углу цеха что-то металлически звякнуло, скрежетнуло и задвигалось. Я замер так, что почти прекратил дышать.

«Наверное, лисица копается в хламе», – подумалось мне.

О любопытстве этого племени я знал достаточно.

Но то оказалась не лиса. В центральном проходе меж рядов станков я увидел донельзя странное существо.

Покрытое ржавчиной нечто двигалось ко мне из дальнего конца цеха. Нет, оно пока не видело меня, да и я смог в деталях рассмотреть его, только когда оно приблизилось почти вплотную, метров на десять. Основу его составлял штангенциркуль, к которому лепилось неизвестное количество болтов, гаек, шпилек, стружек, а также прочих деталей и отходов машиностроительного производства.

Он шёл неровно. Конечностей у него было четыре, но одна, задняя нога, состоящая из каких-то стержней и витой стружки, волочилась будто переломленная. Вы видели когда-нибудь кота с перебитой задней лапой? Вот...

Существо заметило меня. Там, в глубине стружек, винтиков, конденсаторов, шурупов, шпилек и какой-то совершенно непонятной металлической мешанины, я ощутил внимание. Существо, скрипя, и скрип тот напоминал стариковское ворчание, двинулось ко мне. Безнадёжная задняя правая нога волочилась следом.

Я даже не понял, как это произошло, но он запрыгнул ко мне на колени, дотронулся холодной гачкой носа до моего подбородка. Задвигался, переступая здоровыми лапами по моим ногам. От него пахло машинным маслом, свежим, будто его только что смазали. Ещё пахло металлом, чистым, не тронутым ржавчиной, хотя на морде его, плечах, спине я видел бурые отметины разрушения.

Гость ткнулся мне в грудь лбом из винтов и стружек.

– Я знал, что однажды ты придёшь, – расшифровал я его движение. – Знал, что однажды всё вернётся и мы снова станем нужными.

Он потёрся щекой, из которой торчали металлические нити, упругие, как гитарные струны – потом я узнал, что завод, помимо оборонки, производил и струны для гитар, – о мою грудь, плечо.

Я положил руку ему на спину, но, вопреки ожиданиям, не встретил острых, раздирающих стальных кромок. Нет. Спина его была гладка, как шерсть самого настоящего кота.

Я гладил это масляно-ржавое чудо, душу, как я понял, заброшенного завода.

Кот поднял на меня задорные, слепленные из гаечек и обломков стружек в цветах побежалости, глаза, издал скрип, удивительно похожий на мяуканье: он был рад мне. Безотносительно того, могу я помочь заводу или нет, он был рад живой душе, заглянувшей в эти ныне обезлюдившие, а некогда переполненные человеческими страстями пространства.

Потёрся о мою грудь сначала одной, потом другой щекой.

Он на глазах превращался из комка металлических обломков в живого, трёхцветного, пусть это и бывает невероятно редко, кота – чёрно-рыже-белого.

Я, пока он не успел ещё полностью превратиться в живое существо, тронул его правую заднюю ногу. Ключ-трещотка, служивший суставом, рассоединился с головкой. Я аккуратно, очень боясь причинить коту боль, насадил головку на четырёхгранник. Раздался щелчок. Кот вздрогнул, замер. Возможно, это было по-своему больно, не знаю. Он замолчал, но уже через минуту залился мурчащей трелью, во время которой двигал задней правой ногой, проверяя её подвижность. Мурчание металлического кота разносилось меж стен цеха, как некое подобие церковного пения под сводами храма из стали, стекла и бетона.

Кот ткнулся мне в грудь крутым, траченным ржой лбом, мяукнул почти совсем как живой.

Я верю, однажды в эти огромные цеха, в инженерные корпуса обязательно вернётся жизнь, в окна завода снова вспыхнет свет, задышат кислородные и воздушные компрессорные станции, загудят трансформаторы, запустятся станки.

В ПЯТИЭТАЖКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛИФТОВ

Он назначил свой квартирник на самый удобный день – пятницу. У себя в квартире, конечно. Место намоленное, тут квартирников уже под сотню, наверное, было. Намоленное место, известное. Кто тут только не играл! Считай, все более-менее заметные люди андеграунда отметились. И перед некоторыми из них играл он. Если, конечно, главная фигура была не против. И принимали его неплохо, хорошо принимали. После концерта жали руки, говорили на ухо, что он чуть ли не лучше гвоздя программы сыграл. А он к тому времени был уже, конечно, чуть выпивший, счастливый, улыбающийся. Чокался с гостями, со «звездой», со старыми знакомыми и людьми, которых видел впервые. Все хорошие, добрые, щедрые. Настоящее рок-н-рольное братство. Обняться и плакать. Или смеяться. И знать, что вместе мы – сила и всё у нас получится.

Полгода назад он устроил свой сольный квартирник. Никто не пришёл. В соцсетях залайкали объявление о концерте, а потом никто не пришёл. В тот раз он списал всё на близость майских праздников. Только началось тепло, люди соскучились по природе, шашлыкам. Да, возможно.

Но на этот его сольник снова не пришёл никто.

– Это твоя цена, – говорил он себе, глядя на бутылки и бутерброды, что заготовил для гостей.

Фантазии о том, как здорово он сыграет и как, счастливые и довольные, они потом будут выпивать у него на кухне, растворялись в голове, превращаясь в кислоту, уксус.

«Это то, чего ты стоишь», – думал он, глядя на нетронутый стол.

Он надеялся, что гости в момент разметут всё приготовленное и придётся бежать в магазин.

Никого. Даже тараканов не было.

Потом, сидя посреди комнаты на стуле прямо под люстрой, ему нравились симметричные образы, он пел-кричал в пустую стену со старыми обоями. Бил по струнам, выкрикивал, закрыв глаза, слова, надеясь, что вдруг он откроет их, а перед ним кто-то сидит, хоть один, тихо открыл дверь прошёл, сел и слушает теперь, не выдавая себя ни шорохом, ни звуком. Но нет, песня кончалась, он, дождавшись, пока перестанут звучать струны, открывал зажмуренные до боли глаза – никого. Стена, обои, людей нет.

Он отыграл всю программу, которую собирался выдать, даже, сверх того, прочитал стихи, которые, как он втайне надеялся, попросят его прочесть, когда кончатся песни.

Теперь он сидел пустой в открытом окне.

Октябрь, самый конец. В воздухе летели первые снежинки. Прилетая из темноты вверху, они попадали в поток света из его окна, и исчезали в темноте внизу.

Водка шла легко, как родниковая вода. Такая злая, холодная, родниковая вода.

Утром он с трудом оделся и отправился за минералкой. Закрывая дверь, не сразу смог попасть в дырку замка ключом. Выдохнул, закрыл и снова открыл глаза.

– Задрали эти вопли уже, Юр, – с вызовом, но, в общем, беззлобно сказал, спускаясь с четвёртого этажа, Виталик. – Как выходные, так это твоя какофония.

Виталик был ровесником Юры. Токарь на заводе, по замашкам гопник, по сути – хороший человек.

– Квартирник был, – сухо ответил Юра, поворачивая ключ.

– Вчера ещё ладно, хоть что-то путное. Но обычно же такое говнище, капец...

Виталик прошёл мимо и исчез за поворотом лестницы.

Юра уронил ключи, и они звякнули на весь подъезд.

Потом он стоял, медленно прятал ключи, отчего-то перекладывая их из кармана в карман, и глупо улыбался в закрытую дверь.

Снизу поднималась на артритных ногах, медленно, улыбаясь от боли при каждом шаге, его школьная учительница Лариса Ивановна. Сказала утомлённо:

– Юра, когда это кончится? Эти пьянки ваши, песни...

– Никогда, Лариса Ивановна.

– Ладно я, я тебя с начальной школы терплю. А вот Виталик, он ведь хулиган, он тебя когда-нибудь побьёт.

– Он сейчас мимо проходил, сказал, что вчера ему понравилось.

– Ну, вчера-то и вправду ещё ничего было. Слова, мелодия... Я старый человек, у меня обострённое болью восприятие, но мне вчера, да, понравилось. Я, правда, не все слова разобрала, но вроде ничего. Но остальное-то, что у тебя бывает...

«У нас очень тонкие стены и перекрытия, совсем не гасят звук», – подумал Юра.

Лариса Ивановна, улыбаясь от боли, принялась подниматься на свой этаж.

– Спасибо вам, Лариса Ивановна.

– За что? – истончившимся голосом, взбираясь на очередную ступеньку, спросила она.

– Так... За всё.

– Пожалуйста, пожалуйста. Какой враг решил, что в пятиэтажках не нужны лифты? – донёсся сверху её задыхающийся голос.

Соседка по даче позвала мою маму:

– Клавдия Васильевна, муж с рыбалки приехал, много рыбы привёз.

Вон, в ванной плавает.

У соседей посреди участка стояла ванна.

– Возьмите хоть сколько-то. Она живая ещё. Возьмите.

Мама согласилась, соседка поверх невысокого заборчика передала пакет с рыбой.

В пакете кто-то шевелился.

Рыбы оказалось в сумме килограмма два с лишним: весьма серьёзных размеров зеркальный карп, уже не подающий признаков жизни, две рыбы, отдалённо напоминающие красного карася, но точно не караси, и молодой сом, сантиметров сорок длиной. Именно он и шевелился в пакете.

Двух рыбёх, едва двигавших жабрами, мы отдали моей двоюродной сестре, удачно оказавшейся у нас в гостях. Не подававшего признаков жизни, уже скорее зазеркального карпа, я разделал на доске. Крови на стекло, как с телёнка.

Я открыл кран, смывая кровь, перевернул пакет и из него вытек в раковину, окрашенную бледно красными разводами, сомёнок. Тонкий, я сначала даже подумал, что это угорь, с большими четырьмя усам на лобастой голове, он, видимо, решил, что из пакета, где не было ни капли, его наконец-то пускают в родную среду, реку, озеро, на худой конец, наполненную водой ванну, но нет, то была всего лишь раковина в брызгах и разводах крови зеркального карпа, в крупной, с пятирублёвую монету, чешуе. Почувствовав свободу, обрадовавшись, он начал совершать по-детски восторженные движения хвостом и плавниками, мечась по пустой, заляпанной розовыми разводами раковине. С глупым энтузиазмом он плыл куда-то, извиваясь, раскинув длинные усы, по два с каждой стороны.

Он напоминал мне кота, а я никого из животного мира не люблю так, как котов и кошек. Разве что лошадей и коров. Его лишённая чешуи кожа была неуловимо похожа мягкостью и гладкостью на кошачью шерсть. Да ещё и усы...

Я представил, что сейчас мне нужно будет взять нож и отрезать ему голову. Взять это мягкое, гладкое, нежное тельце и отрезать голову. «Нет, – подумал я. – Это как коту голову отрезать».

Сом извивался, отчего-то решив, что он наконец-то в воде, и всё пытался хвостом и плавниками ощутить её.

– Я не могу, – сказал я.

– Ну, давай положим его в морозилку, – предложила мама.

Я представил, как рыба, замерзая, будет бить изнутри по стенам.

– Нет, давай отпустим его.

– Куда?

– В Клязьму, – сказал я.

– Давай. Как скажешь.

Я налил в пакет воды, положил в большую миску и завязал ручки пакета.

Самое интересное, что я люблю сомов. Вяленых, копчёных. Очень люблю.

Но одно дело купить в магазине копчёную тушку, а другое – самому выполнить весь цикл, от убийства живого существа до поедания.

Я смотрел на извивающееся чёрное гибкое тело в раковине и мысленно уже говорил, как завещали Карлос Кастанеда и дон Хуан, слова извинения одного живого существа, убивающего другое живое существо. Раза два или три произнёс про себя, а потом не смог убить.

В этом, конечно, есть ложь. Есть говядину и любить коров, обожать копчёного сома, но страдать над извивающейся чёрной рыбой в розовой раковине.

Ну ложь и ложь. В конце концов, наша жизнь соткана из противоречий, и я тут ещё не самое противоречивое создание.

Да, вчера я покупал в магазине куски сома горячего копчения, а сегодня сижу в машине и у моих ног шевелится в пакете из «Пятёрочки», в пластиковой миске ребёнок-сом. Да, вчера я ел его сородичей, а сегодня еду его отпускать. И отстаньте от меня.

Когда машина тормозила излишне резко, сом вздрагивал и бил хвостом. Но как-то не активно, то ли смирился со своей участью, то ли боясь спугнуть удачу, которая ему уже слегка улыбнулась, переместив из безводной раковины, наполненной иссушающим жабры воздухом, в хоть и скудное, но всё же пространство с водой.

Я вышел из машины рядом с городской набережной возле пешеходного моста и направился к реке. Вытекающая из пакета на асфальт вода отмечала мой путь. Перелез через никелированные ограждения, нырнул под настил набережной. Берег был укреплён крупной рабицей, под которой скрежетал гравий.

– Не хватало сейчас ещё проволокой себе ногу рассадить, – подумал я.

Я сел над тёмной, почти такой же чёрной, как сом, водой, запустил руку в пакет, нащупал мягкое голое тело, снова удивился тому, как сом похож на кота, вытащил пленника и тот перетёк в Клязьму. Вода плеснула и успокоилась. Тёмная гладь застыла монолитом.

Очень противоречивая история вышла. Но мне кажется, я не смогу лишить жизни ни одно живое существо, хоть немного похожее на кота. Наверное, в этом всё дело.

Дома нас встретил кот Лев и сын Ярослав. Мы, конечно, рассказали о случившемся. Сын одобрил, кот остался равнодушным. Но на то он и кот.

ВСТРЕЧА

Это был интроверт. И не просто интроверт, а интроверт в квадрате, в кубе, в двадцать пятой степени.

Однако каким бы интровертом он ни был, девушки его любили, и на одной из них он даже женился. Что принёс этот брак ему, более-менее ясно: комфорт, сытость, спокойствие за завтрашний день. Нет, зарабатывал он и сам достаточно, но просто ему нужно было время от времени ощущать, что рядом кто-то есть. Так в его жизни появилась она.

А вот дети в их жизни отчего-то не появились. Были проблемы со здоровьем у него, были у неё... В общем, не получилось.

За ужином она рассказывала ему, как прошёл день, чем дышала её пыльная контора на окраине города. Он ел и делал вид, что слушает её. Даже отпускал какие-то реплики, не переставая барахтаться в своём внутреннем море.

«Нельзя же настолько не интересоваться её жизнью», – говорил себе.

Но сам понимал, что ему всё это не интересно.

– ...Сдавали деньги на подарок ко дню рождения Белоомут, Власова не сдала... – слышал он.

«Белоомут, какая красивая фамилия. Если бы я писал роман, то сделал бы её главной героиней. Может быть, влюбился бы в неё. Или, если бы дело происходило в девятнадцатом веке, погиб ради неё на дуэли. Погибнуть, защищая честь Людмилы Белоомут... Это же готовая эпитафия, и тут всё сказано о человеке».

– ...Власова ненавидит Белоомут...

«Власова... Фамилия испоганенная на поколения вперёд. “Армия Власова” – это уже синоним предательства. Как Азеф – синоним провокатора, Пугачёв – символ бунта... Интересно, Пригожин останется в истории как символ бунта, хоть в чём-то сопоставимый с Пугачёвым? Вряд ли. Если не получит свою “Капитанскую дочку”, конечно».

Нельзя сказать, что она не пыталась достучаться до него, хоть кончиком пальца тронуть море, на волнах которого он качался, внутри которого жил, лишь временами всплывая на поверхность. Все её рассказы и были как раз попытками уехать к морю, его морю.

И нет, она не достигала даже береговой линии. Туда, где плескались волны его моря, не ехали поезда, туда не вели железные дороги.

И они сидели за обеденным столом. Она смотрела на его профиль, он смотрел перед собой, едва слыша её, но всё же слыша и оттого иногда подавая замечания.

И напрасно было думать, что он не пытался преодолеть свою интровертированность. Он был жалостлив, очень жалостлив. Но он жил сам по себе, она сама по себе.

Первые годы после свадьбы она время от времени срывалась, кричала, что она ему не интересней кошки или салфетки на столе, замыкалась, не разговаривала с ним неделями. В такие дни он вообще не хотел возвращаться домой, но, гонимый чувством долга, возвращался, ел

приготовленный ею ужин, говорил положенное «спасибо». После недели-двух жизнь возвращалась в норму.

– ...Мозуль вообще не умеет работать с людьми. Постоянно орёт, ставит себя выше всех... – говорила она за ужином.

«...Иногда мне кажется, что я жуткий антисемит. Хотя, если вспомнить моих друзей... Хорошо, приятелей. Ну какой из меня антисемит? Но я, всё же, наверное, ксенофоб. Мне кажется, я никогда не смог бы жениться, да что жениться, даже переспать с азиаткой, мулаткой или негритянкой».

Она всё говорила, он, почти не слыша её, иногда мычал что-то утвердительно или удивлённо, но по большей части даже не показывался над поверхностью моря.

А потом они стали смотреть вместе сериалы и фильмы. И что-то сдвинулось. Нет, её поезда всё так же не могли добраться до его моря, но у них словно образовывалось на время просмотра некое общее море, или, скорее, озеро, и они если не купались там вместе, то хотя бы стояли на противоположных берегах, сняв обувь и зайдя по щиколотку в воду. Это уже немало, поверьте.

Смотрели старый советский фильм «Золотая мина», там на палубе парусного корабля, переоборудованного под кафе, была короткая сцена между упоительно молодой и выразительной Полищук и Далем, играющим преступника, отщепенца, человека, сменившего при помощи пластического хирурга лицо. Фильм проходной, сцена великолепная.

– Смотри, смотри на её лицо! – почти кричал он, интроверт. – Там столько тоски, ненависти и любви к Далю. Она в жизни ничего лучше не сыграла. И в том фильме всё остальное, что она делает, фальшь и пластик. Но здесь...

Он ставил эпизод на повтор. Даль в элегантной джинсовой куртке с подвёрнутыми рукавами, тонкий, нервный, Полищук, лицо мраморно-бледное, но эта бледность так гармонирует с её выражением, что за актрису страшно. Так сыграть девушку на грани нервного срыва могла только девушка, пережившая что-то большое и очень болезненное.

Ничего лучшего Полищук так и не сыграла. А Даль... Даль умер молодым.

– Смотри! Смотри! – кричал он, указывая на смертельную бледность героини. – Это лицо... Отчаянное, обрывающее целую жизнь.

И она смотрела, видела и смертельную бледность, и отчаяние, едва скрываемое тонкой плёнкой спокойствия, видела отчаявшегося, словно больного некоей глубоко скрытой и нераспознанной душевной болезнью Даля... И понимала, что сейчас она вместе с ним, что не только стоит с ним в одном озере на противоположных берегах, но они только что сделали шаг навстречу друг другу. Нет, они почти не стали ближе, и всё же стали, стали.

Она тронула воду ногой, и вот от её пальцев, от её тёплых пальцев с прозрачной кожей, побежала волна, которая, может быть, она так на это надеялась, достигнет того берега, пусть не в виде волны, пусть лёгкой, едва заметной ряби, но достигнет и принесёт, возможно, частичку её тепла, и он почувствует, услышит её тепло, донёсшееся с того берега.

Даль уходит, пообещав убить Полищук, поцеловав, растрепав ей волосы и как-то очень цинично и пользовательски толкнув её голову. Полищук остаётся на палубе парусника с мраморным лицом, и волосами её играет ветер.

А они... Что они... Ступив на секунду в одни, общие воды, с окончанием просмотренного в энный раз эпизода, вставали и расходились по своим делам в разных концах квартиры.

Секундная встреча. Но ведь это, наверное, всё же лучше, чем вообще никогда не встречаться друг с другом?

СМЕХ ИЗ-ПОДО ЛЬДА

В один пруд как-то вылили две фляги малька карпа и одну – толстолобика. И надо ж было такому случиться, меж рыбёшками попался малёк русалки. Бестолковая мать не доглядела за одной из своих дочерей, ребёнка-малька захватили сетью, увезли за десятки километров и выпустили в пруд.

Первые несколько лет жители села, сберегая рыбу, исправно делали лунки, рубили проруби, закидывали их сеном, чтобы мороз не так быстро опять «застеклил» их. А потом, года через три, забыли об этой хитрой, в общем, обязанности, и подо льдом начался замор.

Девочка-русалка тогда была ростом уже с пятилетнего человеческого ребёнка. Вместе с рыбами она лежала на илистом, самом мягком дне и с тревогой прислушивалась к тому, как душно становится в пруду. Рыбы смотрели на неё большими глупыми глазами, не понимая, что происходит и отчего им так плохо, широко открывали рты, шевелили жаберными крышками, льнули к ней, словно дети к старшему.

И вот когда подо льдом стало совсем неводных, когда девочка-русалка увидела, как мутнеют глаза рыб, как то одна из них, то другая, заваливается набок, судорожно шевеля жабрами, тогда она поняла, что надо что-то делать.

Она всплыла к тёмному толстому льду и принялась колотить маленькими кулачками в ледяную твердь.

– Эй! – кричала она, отчаянно глядя вверх. – Пустите нам воздух, дайте жизни!

Но толстый лёд, к тому же укрытый снегом, надёжно прятал её крик. Она отыскала на дне камень, но не смогла поднять его. А рыбы, хоть и глядели с сочувствием, ничем не могли помочь.

И тогда она просто приложила ладошку к шершавому льду и начала своим теплом протапливать его. Дело шло медленно, рука мёрзла и леденела немилосердно, но день за днём, ночь за ночью, хоть подо льдом день и ночь совсем неотличимы, она протапливала ледяной панцирь. И вот вся её ладонь ушла в лёд, потом предплечье до середины. Холодно было так, что девочка кричала от бессилия в глухую твердь неподъёмной ледяной толщи, укрывшей пруд.

Но, как бы то ни было, пятипалая ладошка медленно уходила вверх.

Вот рука маленькой русалки погрузилась в лёд по локоть, вот уже до середины плеча...

Ах, как долго, как больно шло дело!

Девочка плакала, но кто увидит слёзы под водой?

Пучеглазые рыбы тенями сновали вокруг неё во тьме, не понимая, что она делает. Касались её лица, рук, ног хвостами, плавниками, желая выказать своё участие и не зная иных способов.

Лёд поддавался.

Рука ушла почти до самых тонких ключиц маленькой русалки, и она уже думала, что лёд слишком толстый и она не сможет проплавить его насквозь, как однажды под указательным пальцем её хрустнула ледяная корочка и она почувствовала снег. Рыхлый, тонкий, почти невесомый по сравнению со льдом. Ей на мгновение даже показалось, что он тёплый, но это ощущение скоро ушло.

Она подождала ещё немного, и вскоре её ладонь с пятью широко расставленными пальцами вся целиком утонула в снегу. Таким невесомом, нежном, воздушном.

– Эхей! – закричала маленькая русалка.

Она принялась шевелить рукой, увлекая снег в воду, где он, пусть и не спеша, но таял, и вскоре через пятипалую лунку потёк, растворяясь в воде, воздух.

Дело было ночью. Русалка увидела через узкий лаз острые от мороза звёзды и рассмеялась.

Вокруг неё, вокруг лунки закипела мешанина из рыб. Огромных, больше самой русалки, маленьких, меньше мизинца на её ноге, они суетились, бились о лёд, толкались в лунку и кипели, кипели.

Впервые за много дней девочка отправилась спать со спокойной душой и уснула, зарывшись в ил и оставив снаружи только голову.

Утром она снова поплыла к лунке, мутно светлевшей вверху. Возле неё всё так же толклись, носились, метались рыбины, рыбы, рыбёшки.

Девочка просунула в лунку руку, разломала хрупкий, тонкий, не толще бумажного листа, ледок и посмотрела наверх. Небо было отчаянно синим, откуда-то сбоку доносились лучи солнца, зимнего, яростно-яркого, так что стало больно глазам. Но то была сладкая боль, и девочка, зажмурившись и замотав головой, снова засмеялась.

Коля Барашек, пастух и местный юродивый, шёл мимо, и что-то привлекло его внимание на безупречно белой равнине замёрзшего пруда. Он поднял ладонь козырьком, пытаясь рассмотреть на сияющем поле точку, чёрточку, отличную от общего фона. Коля всегда был любопытен, он сошёл с плотины и пошёл по снегу, который лишь немного не доставал до краёв его высоких валенок.

Посередине пруда снег воронкой проваливался вниз, а на дне её виднелся протаянный во льду отпечаток детской ладони. Верь Коля в Бога, он бы перекрестился, но юродивым верить в бога необязательно.

Наклонившись над лункой, Коля заглянул внутрь, и оттуда на него посмотрело детское лицо, мелькнула улыбка, белые зубы, щека, потом снова улыбка, глаза.

Окажись на его месте человек чуть более здравомыслящий, он совершенно точно тут же сошёл бы с ума, увидев в тёмной воде под полуметровым слоем льда мелькание детских черт. Да, в конце концов, одна лунка в виде детской ладони с расставленными пальцами, она одна уже способна свести с ума человека с буйной фантазией.

Но Коля был всего лишь местным юродивым. Он улыбнулся в ответ, помахал рукой, приветствуя.

Из лунки на него снова глянул хитрый девичий глазок, и Коля услышал короткий, булькающий смешок девчонки.

Раскинув снег, Коля встал на колени, опустил голову к самому льду.

– Эй, привет! – закричал он своим зычным голосом.

Коля вообще умел только молчать и кричать.

Подо льдом снова мелькнули игривые детские глаза.

– Привет, – чуть булькая, донеслось.

Коля скинул телогрейку, сложил руку узким клином и опустил её в лунку. Рука с трудом, но продвигалась по холодному лазу.

И вот вода.

Он опустил всю ладонь в воду, призывно поводил пальцами и почувствовал, как указательный его палец обхватила тонкая, узкая детская ладошка.

Укрытая снегом чернозёмная равнина сияла под солнцем, слепила всякое смотрящее на неё око мириадами искр. Деревья, осыпанные снегом, чернея, стояли, выделялись на общем пейзаже и, как могли, принимали участие в этом представлении света.

Коля Барашек исчез бесследно.

Но скажите, что бы вы не отдали за то, чтобы однажды на вас взглянули из-подо льда озорные детские глаза?

ИССЛЕДУЯ ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ

В своих путешествиях по Африке Мишель Мезонье проникал в самые дикие и потаённые уголки этого континента. Впрочем, меня не оставляет ощущение, что его заметки, касающиеся Африки, столь же тесно связаны и с его исследованиями своей внутренней Африки, своего потаённого чёрного континента. Того, что Юнг звал тенью. Но то не более, чем мои догадки.

Итак, год тысяча восемьсот тридцать четвёртый. Мезонье и его экспедиция пробивает тропы через джунгли центральной Африки.

Племя, которое называет себя просто «люди». Впрочем, это обычное дело в примитивных сообществах – считать людьми только членов своего племени, остальных – животными, даже пусть они и выглядят неотличимо от тебя самого.

Люди верили во взаиморождённых близнецов – мальчика и девочку, юношу и девушку, мужчину и женщину.

Началом человеческого рода стал некий акт, при котором ещё не рождённый юноша оплодотворил ещё не рождённую девушку, следствием чего стало сначала зачатие девушки, а потом и рождение юноши.

Взаиморождённые, так люди называли своих богов. Богиня-дитя родила оплодотворившего её мальчика-бога.

Себя люди называли детьми богов, и потому близкородственные браки и инцест здесь не только не порицались, но даже приветствовались. И при этом, по уверениям Мезонье, он не видел в племени ни малейших следов вырождения.

При встрече люди здоровались, вылизывая глаза друг другу, как, допустим, кошка вылизывает глаза котят, только появившимся на свет. Мезонье долго не мог привыкнуть к этой процедуре, но в итоге даже стал получать от этого удовольствие.

Они интересно хоронили своих мёртвых. Собирали флотилию плотов, самый большой из которых предназначался для усопшего соплеменника, затем выплывали на середину реки, очень большой по уверениям Мезонье, но так и не идентифицированной учёными впоследствии. Плот с покойным поджигали и потом все вместе плыли по ночной реке, сопровождая усопшего, пока плот его не разваливался, а сам он не оказывался в реке, по-видимому, становясь добычей хищных рыб и крокодилов. Провожая соплеменника, люди пели ему песни, успокаивая душу перед переходом в мир иной.

Мезонье описывал, как он однажды сам отправился по ночной реке вместе с похоронной процессией. Пылал плот. Светили над рекой огромные звёзды. Мезонье писал, что нигде больше не видел таких огромных, как в Африке, звёзд. Река напоминала струю застывшего базальта. Небо то и дело пересекали падающие метеоры. Люди плыли, и звуки неслись над рекой томительные, гулкие, «вынимающие душу», как описывал их путешественник. «Казалось, моя душа сама хочет

вырваться и улететь вслед за искрами от погребального костра, за звуками пения, криками жуткими, таинственными, будоражащими, доносящимися временами из джунглей. Поначалу было очень страшно, что я стану добычей крокодилов, но звуки песни вмиг прогнали страхи и наполнили всё моё тело, всё сознание неким воздушным, полётным ощущением, после чего я до самого конца путешествия утратил чувства страха.

Иногда к плоту, горящему, сияющему, распространяющему запахи сгорающих трав и благовоний, которыми был выстлан плот, подплыл кто-нибудь из “сопровождающей флотилии” и бросал в огонь ветку, пучок трав, россыпь порошков, и они распространяли запахи, которые невозможно забыть. Эти запахи джунглей, горящих трав и благовоний, запах горящего человеческого тела, сообщали мыслям и разуму ощущения столь богатые, столь о многом говорящие, что я не в силах перенести их на бумагу и только в бессилии скриплю зубами над чернильницей.

Ко мне подплыл один из людей, дал палку, больше похожую на бревно, пучок травы и горсть душистого праха, после чего указал на плавающий посередине широкой, с две-три Сены в Париже, реки. Я всё понял без слов, поспешно заработал вёслами, подплыл к горящему плоту, бросил в огонь брёвнышко, траву и порошок, после чего немедленно отплыл, так нестерпим был жар.

С первыми лучами рассвета плот с покойным затонул, будто только того и ждал, и мы отправились в обратный путь против течения.

Помню тот странный момент, когда люди перестали петь. Я словно внезапно оглох и опустел, так разительна была перемена.

Когда я прожил в племени три месяца, со мной произвели странный и довольно болезненный ритуал. Меня раздели донага, поставили на площади посреди посёлка, и после этого люди стали по одному подходить ко мне. Каждый остро заточенной стрелой глубоко протыкал мне кожу, после этого некоторое время вылизывал сочащуюся из раны кровь и уходил, оставив подарок. Кто-то дарил козу, кто-то лук, кто-то острейший обсидиановый нож. Один молодой человек привёл и оставил рядом со мной свою сестру, которая потом стала моей женой. Это была довольно продолжительная и болезненная процедура. Каждый совершеннолетний человек племени оставил на мне рану, и каждый принёс подарок. Я был сплошь покрыт ранами и кровью. Потом они все вместе приблизились ко мне и принялись подносить свои руки, из которых также сочилась кровь. Я слизывал её, а в это время всё племя вылизывало меня и мою кровь десятком языков. Странное, жуткое чувство охватило меня. Рот мой был переполнен чужой кровью, а рты окружающих – моей. Мы были одно, единое существо с единой кровеносной системой, одними желаниями, одними мыслями.

Месяц над деревней, похожий на узкий нож, лил на нас свой скудный свет, а мы, будто кошка и котята, вылизывали друг друга, и непонятно было, кто здесь кошка, а кто котята.

“Единая кровь, единая плоть”, – вспомнились мне слова христианской молитвы.

А потом был свальный грех, где в свете погасшего костра брат не отличает сестру, а дочь отца».

Храмом взаиморождённых, по свидетельству Мезонье, могло стать любое дерево с разветвлённым стволом. Но было и первое, главное, росшее посреди селения дерево, вокруг которого и происходили все главные ритуалы племени.

Отправляясь на охоту или любое совместное дело, люди били друг друга. Целью было появление синяков, которые, как считалось, спаивали их на время действия. Мезонье писал, что такой обмен ударами действовал очень успокаивающе на участников. Не навсегда, конечно, но на некий период точно.

Мезонье писал, что в джунглях Африки у него осталось пять детей от его официальной, подаренной во время ритуала жены. И кто знает, сколько ещё женщин понесли от него в этом эдемском саду свободы и вседозволенности. Мезонье пишет, что провёл эти пятнадцать лет будто в раю.

Взаиморождённые близнецы, если верить религии людей и Мезонье, однажды убьют друг друга. Потому что рождённые один от одного, однажды точно так же убьют друг друга.

Мезонье наотрез отказывался говорить, почему он покинул «эдемский сад» и людей.

Иногда, когда мы с ним в китайской курильне падали на подушки и готовились хотя бы на краткие мгновения покинуть этот мир, мне казалось, он хочет рассказать мне, возможно, главную тайну его жизни, но в последний момент он неизменно сдерживался, лишь кадык на его покрытой тонкими шрамами шее вздрагивал, будто он продолжал глотать кровь людей, принимающих его в своё племя.

ПСЫ

Вечером со стороны заката надвинулось море рослых чёрно-белых псов. Лающая чёрно-белая лава заполонила равнину и окружила город.

Стража едва успела захлопнуть городские ворота перед их слюнявыми алыми пастями с белыми как сахар зубами.

Несколько человек, направлявшихся в город, а также с десятков женщин и детей, собиравших землянику на склонах оврагов, бесследно исчезли в чёрно-белом месиве, едва лишь успев издать жуткие крики.

Я лейтенант городской стражи, моё место на стене. Я наблюдал нашествие с самого его начала.

Ночь накрыла город, но никто в нём не спал. Все прислушивались к лаю и завываниям псов, что, как море судно, обступили город.

Некоторые мучимые бессонницей горожане выходили на стены, стояли рядом с нами, смотрели на неясное движение внизу. Казалось, сама земля обрела голос и начала выть и шевелиться.

– Тьфу, – плюнул во тьму, стоявший рядом со мной длинный, худой кузнец с тёмным от вьёвшейся сажи лицом.

Он долго сдерживался, выдавая волнение только лёгким подёргиванием рук.

– Какая ж мерзость, прости господи, – сказал он.

– Мразь! – крикнул он в пространство. – Пошли вон!

Стая ответила ему нестройным воем, лаем, визгом.

– Пошли вон! – обрадовавшись, что вызвал ответ, повторил кузнец.

Он некоторое время послушал шум стаи и вдруг, к моему удивлению, разразился воем, тут же подхваченным темнотой. Некоторое время он так развлекался, потом снова крикнул:

– Мразь!

И с тем, как мне показалось, внезапно повеселевший и довольный собой, отправился вниз по лестнице.

Наутро из городских ворот вышла тяжёлая пехота нашего герцога и принялась выкашивать чёрно-белые полчища, как косари выкашивают утренний луг. Псы ложились сотнями. Бойцы не успевали махать мечами. Отрубленные лапы, головы, уши, морды разлетались от их ударов, и гвардия продвигалась вперёд с ног до головы покрытая яркой кровью псов. Хруст собачьих костей был слышен даже на стенах, где стояло едва ли не всё население города.

Твари оказались на редкость умными и сообразительными, и вскоре они обнаружили уязвимые места гвардейцев – задняя часть ног и пах. Проявляя чудеса ловкости и самопожертвования, звери умудрялись добираться до них. Пока две-три пары псов повисали на руках воинов, какая-нибудь мелкая шавка умудрялась добраться до незащищённых мест и кусала туда.

Вскоре наши воины стали падать один за другим, и чёрно-белая лава накрывала их.

И вот в сражении настал перелом, шеренга пехотинцев дрогнула, заколебалась и стала отходить. Обратно в город не вернулась почти половина тех, кто три часа назад вышел оттуда.

Город замкнулся в себе. Вырваться своими силами мы больше не рассчитывали. В соседние города были посланы голуби с призывом о помощи. Нам оставалось только ждать, и мы ждали.

Мой сосед, доктор и философ, как он сам называл себя, сказал, что собаки, видимо, в чём-то подобны саранче, которая раз в десять лет переживает оглушительный скачок численности.

– Это точно не наказание Господне? – спросил я. – А то многие так болтают.

– Если кто-то решил, что псам больше нечего делать, кроме как наказывать кого-то за то, что он продавал сырое зерно или залез под юбку свояченице, то, думаю, он ошибается. Конечно, всё от Бога, но не всё же за наши грехи, что-то бывает и просто так.

– Не знаю, мне от этого не легче.

На третий день мы увидели стоящих посреди псиного моря путников, что не успели в город, а по краю оврага баб и детей, собиравших там землянику. Люди стояли, и ветер колыхал их. Казалось, дунь он сильнее, и они либо упадут, либо улетят. Так они стояли, качались, будто приходя в себя, с полдня, а потом опустились на четвереньки и затерялись в псином кипении. Я некоторое время старался не выпускать их из виду, и, удивительно, они вели себя в точности как псы, обнюхивались, подвывали, некоторые даже пытались чесать себя ногой за ухом.

На следующий день с земли поднялись пехотинцы, павшие в сражении с псами, и они, как и люди до них, отстояв на ветру полдня, встали на четыре кости и влились в собачье сообщество, как полноправные члены.

– Уоу-уоу-уоу! – выли они вместе со стаей, задрав головы к лунным небесам.

Луна отражалась в их глазах точно так же, как в глазах остальных псов.

– Это какое-то безумие... – сокрушённо сказал мне врач-философ, когда я, специально пригласив его на стену, указал на людей-псов, беззаботно бегущих по равнине вокруг города.

– Безумие не безумие, – ответил я, – но, став псами, они выглядят счастливее людей. А разве поиск всеобщего счастья не одна из задач философии?

– Задача философии не в том, чтобы низвести людей до уровня пса, а в том, чтобы каждый пёс мог дорасти до уровня человека.

Он махнул рукой и покинул стену, сопровождаемый моим смехом. Весьма невесёлым, надо сказать.

Псы где-то охотились, их гонцы то и дело приносили на равнину оленей, кабанов и даже огромных рыб. До моря от нас был день пути.

Людопсы охотились и ели вместе со всеми. И если на окровавленную собачью морду, разрывающую брюхо оленю и вытаскивающую кишки, я ещё худо-бедно могу смотреть, то видеть, как то же самое проделывает человек, оказалось намного сложнее.

Помощь от соседних городов не приходила. То ли они не поверили нашим и вправду немного отдающим безумием сообщениям, то ли сами находились в подобной западне.

– Что если вся страна заполнена ордами псов? – задавали друг другу вопросы горожане и со страхом ожидали утвердительного ответа.

– Нет, как можно? – отказывались верить их собеседники, хотя совсем не были уверены в своих словах.

Решиться на ещё одну вылазку герцог, потерявший половину своей гвардии, уже не мог, и нам оставалось только пережить осаду и ждать чудесного избавления. В свои силы мы уже не верили.

Город наш богат. Припасов, если расходувать с умом, должно было хватить на пару лет. С водой дело обстояло чуть хуже, но и в ней мы недостатка не испытывали.

– Да и вряд ли эти твари задержатся здесь надолго, – уверяли друг друга горожане. – Не сегодня-завтра сорвутся и пойдут искать места посытнее.

Но месяц шёл за месяцем, а конца осаде всё не предвиделось.

Поскольку почтовых голубей больше не осталось, а соблазн узнать, что происходит вокруг, за горизонтом, был слишком велик, мы время от времени отправляли лазутчиков из добровольцев. Впрочем, мы быстро покончили с этим, как только увидели, что все наши лазутчики довольные и счастливые скачут вместе с псами, вычёсывают блох и хватают, играя, псиц за хвосты.

– Интересно, раз уж они так уподобились псам, может, у них смогут родиться щенки от этих сук? – задумчиво произнёс врач-философ, наблюдая за очередной собачьей свадьбой, где наравне с псами носились за течной сукой два бывших пехотинца.

Одежда их истрепалась, лица обросли бородами, и они с каждым днём действительно всё меньше и меньше отличались от кобелей.

– Возможно, мир отныне принадлежит псам?

Минув год.

Город чах, город выдыхался. В какой-то момент все мы превратились в тени, едва знающие, зачем живут.

Но потом – о чудо! – жители внезапно начали пробуждаться к жизни. На щеках появился румянец, в глазах свечение, в движениях сила.

Поначалу мы с врачом-философом очень обрадовались этой метаморфозе.

– Человек не может впасть в отчаяние бесконечно, – назидательно воздев палец, говорил мой собеседник. – Опускаясь вниз, однажды он коснётся дна, оттолкнётся и станет всплывать. Вот так, коллега.

Врач-философ называл меня коллегой только в минуты высочайшего восторга. За годы дружбы с ним я это уяснил безошибочно.

Но восторг оказался ложным.

День ото дня в горожанах стали всё больше проглядывать синие черты.

– Здравствуйте, господин пёс!

– Как хвост, как лапы?

Так стали приветствовать друг друга наши бюргеры, неизменно похохатывая и похлопывая друг друга по животу.

– Как сука? Как щенки?

Эти вопросы вызывали постоянные взрывы хохота. Лица людей, совсем недавно бледные, измождённые, краснели, наливаясь силой и здоровьем.

– Как благотворно влияет юмор на состояние человеческой души, – поначалу радовались мы с врачом-философом.

Но что-то нас тревожило. Было нечто неправильное в том, что осаждённые перенимают черты осаждающих и радуются этому.

И тревога оказалась ненапрасной. Вскоре в моду вошли лай и подвывания. Время от времени какой-нибудь фривольный кавалер, общаясь с не самой разборчивой дамой, в шутку делал вид, будто хочет по-

нюхать у неё под хвостом. И он и она начинали хохотать при этом как безумные, словно услышали изысканнейшую острогу.

Остановиться и приподнять ногу возле стены стало для приятелей при встрече делом совсем обычным.

Запасы провизии в городе меж тем подходили к концу, и ряд умельцев освоили навык ловли псов за стеной. Раскидывая приманки, а то и просто ловким движением петли они ловили бегающих под городскими стенами зверей. Хозяйки поначалу брезговавшие собачатиной, понемногу ввели её в меню, и оказалось, что это прекрасная замена и говядине, и баранине, и свинине.

Псы, что удивительно, очень разумные и хитрые, совсем не избегали арканов, и, как мне казалось, довольно охотно приносили себя в жертву, становясь гуляшом, копчёными рёбрышками, собачьим жиром, рулькой, супом из псиной головы, шкварками и опалёнными собачьими ушами.

Через два года город перешёл на собачью диету.

Всюду ели псов и безудержно псели. Уже не считалось непристойным опорожниться, сидя возле стены, прямо на улице. Глаза у опорожняющего кишечник при этом становились, как и положено псу, виноватыми, в них сквозило: «Не судите строго, дело живое. Если поел, то надо и это сделать». Встав и оправив штаны или юбку, человек делал загребающие движения ногой и шёл дальше по своим делам.

Не знаю, как и почему я держался. Почему воздерживался от всего псиного. Как и все остальные я ел собачье мясо, но в остальном старался оставаться человеком.

С философом мы теперь общались редко, он впал в апатию и вообще ни с кем не хотел разговаривать и видеться.

А потом я заметил его, весело бегущего на четвереньках и звонко лающего. Перед ним, к моему удивлению, нимало не путаясь в юбках, бежала юная и довольно привлекательная фрау. Они повизгивали в унисон, ноздри его и её плотоядно расширились, им было хорошо, насколько только может быть хорошо двум пригодным для размножения созданиям в виду предстоящего соития.

Наш город называют городом башен. Их тут десятки. Мой обедневший род не смог построить ничего мало-мальски похожего на башню, а вот семье философа это удалось и я, поняв, куда дует ветер, и к чему всё идёт; действуя мечом и кинжалом, однажды выгнал из родовой башни философа и всю его семью, при виде меня принявших тревожно обнюхивать воздух и поскуливать. Пинками и окриками я перегнал их в моё жилище, запер дверь башни на засов и остался в одиночестве посреди огромного города. За следующие дни и ночи я, при помощи всё того же меча и кинжала, забил солёной и вяленой собачатиной подвал башни, заложил камнями единственную дверь, а с нею и окна первых этажей и остался теперь уже совсем и безысходно один.

Будто ворон я сидел на вершине башни и смотрел, как мои бывшие сограждане всё более и более превращаются в псов: милых, игривых, агрессивных, ленивых, весёлых, задумчивых, беспокойных, склонных к созерцательности... Псов. Они осваивали прежде неведомые им навыки выслеживания человека по следу, учились лаять и, надо отдать им должное, делали это всё более и более виртуозно.

Человеческая речь исчезла с улиц города. И взрослые, и дети теперь общались исключительно лаем. И тут, надо снова отдать должное моим бывшим братьям, они сумели соединить пение и лай. Видимо, есть в музыке что-то такое, что невозможно искоренить до конца из человеческой

природы, даже если человек, по сути, уже перестал быть человеком. В лунные вечера горожане садились и пели, именно пели, не выли, на луну, и, признаюсь, меня это зрелище трогало едва ли не до слёз. В этой песне было что-то очень болезненное, какое-то сожаление о том, кем они были и кем стали, казалось, ещё немного, и в вое проступят черты человеческой речи, но нет, напрасно я ждал и тешил себя надеждами. Вой так и остался воем.

Они как-то разоблачили меня, поняли, что я другой природы и оттого, что я внешне похож на них, я сделался им особенно неприятен.

Они неизменно поднимали ногу, пробегая возле моей башни, издевательски выли, пародируя человеческую речь, обратившись к вершине, где сидел я.

Как-то незаметно открылись городские ворота, и псиная стая смешалась с людопсиной. Удивительно, как они с ходу поняли друг друга, что нельзя пройти мимо стены моей башни, не оставив на ней пахучую метку.

Рядом, почти окна в окна, стояла ещё одна башня. Мой философ любил залезать на её вершину лунными ночами и хохотать в мою сторону. Он заливался издевательским лаем, выл и визжал в уверенности, что оскорблял меня так, что мне не отмыться до конца жизни.

Меня язвила обида, всё-таки это был один из немногих моих друзей. Но куда сильнее терзал меня вопрос, почему я не стал таким, как они? Почему я один не стал?

Я заметил, что псы боятся огня. Мне доставляло удовольствие вечером, когда я, придя в себя после дневной жары, выходил на вершину башни, кидать вниз подождённые клочки гобеленов, портьер и ковров. Псы шарахались от горящих ключьев, а я, поджигая от факела, воткнутого в один из зубцов башни, бросал куски огня вниз и наслаждался визгом прогуливавшихся вниз по старой привычке людопсов и псиц.

Факел, от которого я поджигал ключья ткани, сиял, коптил, освещал меня и башню.

Снизу мне неслись проклятия. Псы обжигались, но всё равно приходили метить подножие башни. Опасность сделала для них этот ритуал даже более привлекательным. Их становилось всё больше и больше. Запах их нечистот в безветренные ночи бывал невыносим.

Я смотрел, как они разучиваются пользоваться ложками, ножами и вилками, как избавляются постепенно от одежды, насколько спокойно устраиваются, свернувшись калачиком, поспать в тени под стеной летним полднем, как ловко ловят зубами мух и, сделав два-три жевательных движения, глотают их.

Они были по-своему неплохими и даже не злыми созданиями, эти людопсы, а уж про псов и говорить нечего. И, в общем, ничто не мешало мне однажды спуститься, взять кирку, разбить кладку на двери или окне, выйти к ним, смешаться, принять их язык, обычаи, небрежность. Но нет, отчего-то не мог, что-то мешало.

Я заметил, что перестал выделять философа из толпы.

Мои запасы кончались. Я научился ловить псов и людопсов и есть их. Да, я больше не делал различия меж ними и ел всех.

Днём я сплю. Вечерами жгу факелы и кидаю вниз горящие ключья.

Вчера далеко-далеко, даже не могу предположить, где это, я увидел огонь. Позавчера я тоже видел его, но не поверил собственному зрению. Псы не зажигают огней. Псы боятся огня.

Это человек. Я не один.